натан инглaндер

кадиш.com

Натан Ингландер

Кадиш.com

Издательский дом «Книжники»

2019

УДК 821.11.73
ББК 84 (7 Сое)

Ингландер Н.

Кадиш.com / Н. Ингландер — Издательский дом «Книжники», 2019

ISBN 978-5-906999-46-7

Новый роман известного американского прозаика Натана Ингландера (род. 1970) – острая и ироничная история о метаниях между современной реальностью и заветами предков. После смерти отца герой принимает прагматичное решение – воспользоваться услугами специального сервиса: чтение заупокойной молитвы по усопшему. Однако переложив на других эту обременительную обязанность, он оказывается в положении библейского Исава, что продал первородство за чечевичную похлебку. И теперь ни любовь к семье, ни здравый смысл, ни нужда – ничто не остановит его в попытке обрести утраченное, а заодно и перевернуть вверх дном жизнь прочих персонажей.

УДК 821.11.73
ББК 84 (7 Сое)

ISBN 978-5-906999-46-7

© Ингландер Н., 2019
© Издательский дом «Книжники», 2019

Содержание

Часть первая 6
I 6
II 11
III 14
IV 17
Конец ознакомительного фрагмента. 18

Натан Ингландер
Кадиш.com
Роман

Nathan Englander
Kaddish.com
Copyright © 2019 by Nathan Englander
© «ИД Книжники», 2020
© С. Силакова, перевод, 2020
© И. Бурштейн, обложка, 2020

Часть первая

I

Зеркала занавешены, входная дверь приоткрыта, воротник разорван, а на лице – легкая щетина: Ларри стоит, облокотившись на гранитную столешницу модного кухонного островка в доме своей сестры. Говорит:

– На меня все пристально смотрят. Все ваши друзья.

– Люди есть люди, – говорит ему Дина. – Приходят, говорят добрые слова, чувствуют неловкость и смотрят пристально.

А всего-то несколько часов минуло после похорон, и Ларри, честно, сам себя ненавидит за то, что вообще поднял эту тему. Раньше он искренне верил, что ничто не может усугубить его боль от потери отца. Но это вот, тихий бормочущий поток сопереживающих, – для Ларри дополнительная мука.

Какие взгляды на него бросают – вот что ему не по душе. Ладно бы обычный сочувственный кивок, естественный жест. Ларри уверен: тут не обходится без задней мысли, без осуждения. Как он вообще доживет до конца недели, запертый в доме сестры, в кругу знакомых сестры, если всякий раз, стоит кому-то из посетителей глянуть в его сторону, он чувствует, что ему ставят оценку?

Вот отчего он то и дело тянется рукой к макушке – проверить ермолку: она, при всей ее эмоциональной весомости, торчит так, словно он надел на голову колпак от колеса. Оказаться же без ермолки на шиве по родному отцу – все равно что выйти к этим людям нагишом.

Потихоньку отлучившись с сестрой на кухню – наконец-то улучив минутку наедине, – Ларри, шипя, изливает все свои жалобы.

– Скажи им, – говорит он, – чтоб перестали смотреть в мою сторону.

– Когда они приходят выразить соболезнования? Ты хочешь, чтобы они не смотрели на… – Дина делает паузу. – Мы кто? Соболезнуемые? Горюющие?

– Мы – повод для стенаний.

– Скорбящие! – говорит она. – Ты хочешь, чтобы они не подавали виду, что за нас переживают?

– Я хочу, чтобы они не судили меня только за то, что я ушел из их дурацкого мира.

Дина – впервые после того как они предали отца земле – смеется.

– Как это на тебя похоже, – говорит сестра. – Все обращать в негатив, осложнять то, проще чего и не бывает. Эта ожесточенность перед лицом чистого добросердечия тебе даром не пройдет.

– Даром не пройдет? Ушам своим не верю! Ты серьезно говоришь такие слова – сегодня?

– Да, серьезно. Сам знаешь, младший братец. Ларри, я тебя люблю, но если ты вздумаешь даже сегодня – да, сегодня – закатить истерику, как это у тебя водится…

– Как это у меня водится?!

– Ларри, не ори. Люди услышат.

– Да пошли они, эти люди…

– О, как мило.

– Я серьезно, – говорит Ларри, а сам думает, что слово «истерика» тут, пожалуй, отчасти уместно.

– Тогда валяй дальше. Ругай последними словами всех этих ужасных людей, которые будут на всех нас готовить, вместо меня отвозить моих и соседских детей в школу и позаботятся, чтобы мы скорбели не в одиночку. Да, изругай всех добрых людей, которые омыли тело

нашего отца, и приготовили саван, и положили ему черепки на глаза, а теперь приходят в наш дом, чтобы собрать миньян.

– Дина, оставь меня в покое. Это и мой траур, и у тебя я, по идее, должен был бы чувствовать себя как дома – так, как чувствуют тут себя они.

– А кто спорит? Но и ты должен понять, Ларри: им это непривычно. Непривычно то, чем ты занимаешься. – Дина набирает в грудь воздух, заново выстраивая логическую последовательность своих рассуждений. – Мемфисские евреи – они ведь консервативнее даже тех, среди которых мы выросли. В Бруклине даже враги новизны – по-своему новаторы. А здесь, если уж ты вздумал бунтовать, на тебя иногда могут посмотреть пристально.

Теперь уже Ларри смотрит пристально. Стоит перед своей старшей сестрой, таращится, как он это умеет, – непонимающе. Недоумевает: чего в нем такого бунтарского?

– Скажи, что ты просто не знаешь, – говорит она. – Нет, правда, скажи, что ты не нарочно. Что ты и вправду все перезабыл.

– Правда-правда: я не знаю. Кля… – Ларри уже готов поклясться, а ортодоксальным евреям клясться воспрещается. Не столько из уважения к сестре, сколько доказывая свою безвинность (дескать, что бы про него ни думали, он не такой уж чудик и не совершает поступков, которые хоть кому-то покажутся зазорными), Ларри исправляет еще не сказанную фразу – завершает, скомкав. – Честное слово, – говорит он.

– Что, правда без моей подсказки ничего не знаешь?

– Не знаю, – говорит он.

Дина театрально закатывает глаза: она всю жизнь так делала, едва Ларри достаточно подрос, чтобы понимать, какой смысл она в это вкладывает, да и пока не понимал – делала наверняка. Принимается объяснять – а сама уверена, что Ларри сам все знает и нарочно поступает наперекор.

– Ты выходишь во двор. Читаешь книжку, – говорит она с истинно сестринской яростью. – Сидишь, словно так и надо, на обыкновенном стуле.

Услышав это, Ларри распрямляется, отталкивается от островка обеими руками, снова замыкается в своей обиде.

Дает себе минутную паузу, чтоб к щекам прилила кровь, багровеет, как будто он, подобно хамелеону, способен по желанию менять окраску.

– Это не причина обходиться со мной как с ненормальным, – говорит он. – Какие-то дурацкие правила.

Но прямо в то мгновение, когда Ларри произносит эти слова, он – взбунтовавшийся младший брат, паршивая овца и… что уж там, отступник – понимает: для Дины это не просто какие-то «правила».

То, что он выходит из дома на воздух. Прочитывает страничку книги, чтобы развеяться. И, самое ужасное, пренебрегает специальными сиденьями для шивы – низкими стульчиками, деревянными сундуками, софой без подушек. Вообще ни в какие ворота. Древняя поза: осиротевшие родственники сидят, согнувшись в три погибели, с пепельными лицами, почти на уровне земли, – символизирует для Дины верх скорби.

– Траур становится трауром не благодаря дурацкому стулу, – говорит Ларри, идя ва-банк.

Хотя и знает, что для сестры – да, именно благодаря стулу.

Вот он, Ларри, в доме Дины: лежит, еле втиснувшись на узкую кровать племянника, в узкой комнате племянника, замерзая под тонким полиэстеровым одеялом в арктическом холоде, нагоняемом кондиционером.

В первую ночь траура Ларри не спится: вся его просветленность, достигнутая на сеансах дзадзэна[1], не помогает дистанцироваться от шока, который вызывают у него собственные мысли.

Ему хочется крикнуть: «Папа!» Ему хочется крикнуть: «Мамочка!» И эта добавившаяся к скорби регрессия пугает его. Взрослый мужчина, фрустрированный своей фрустрацией, подавляющий свою боль.

Если бы Ларри сам не начал впадать в детство, Дина так и так отправила бы его туда одним пинком: устроила его в норке одиннадцатилетнего мальчишки, хотя могла бы постелить тридцатилетнему брату в кабинете – комнате, более достойной его статуса дядюшки.

Но именно в кабинете отец впервые почувствовал себя дурно, когда приехал навестить их на Песах. Именно в кабинете отец выздоравливал в промежутках между многочисленными поездками в больницу, вплоть до последней, роковой госпитализации. В сознании Дины эта комната заперта на все замки.

Потому-то Ларри и досталась узкая койка, на которой он теперь поворачивается лицом к сияющему аквариуму племянника.

Водянистый свет аквариума озаряет стену напротив, окатывая волной Ларри. Рыбки мелькают на фоне полки с гигантскими кубками: Ларри в пору занятий спортом подобных наград не получал.

И теперь ему хочется не докричаться до родителей, а накричать на сестру, сердясь… на что именно, он даже выразить не может. Может, на свет аквариума – включенный, слепящий, не дающий спать человеку, измочаленному бессонницей? Или на то, что в их семье, и до того маленькой, старшая сестра не смогла уберечь отца от смерти? Или на то, что, когда Ларри был в нежном возрасте своего племянника, Дина, хоть и была старше и мудрее, не смогла удержать их малахольную мать от побега в округ Марин с новым муженьком – этим посмешищем, этим повернутым на нью-эйдж Деннисом: молодожены удрали сразу после свадьбы, состоявшейся в тот же день, в который их дорогой отец взял в руки гет[2].

С процедуры своего развода в раввинском суде мать прямиком – в буквальном смысле – отправилась под хупу в парке Проспект[3], где Ларри был вынужден держать одну из стоек хупы, когда Деннис разбивал бокал, топча его своей ножищей в практичной сандалии «Биркеншток».

При этом воспоминании Ларри качает головой, прижимает к лицу подушку так крепко, что перед глазами вспыхивают звезды, и догадывается: возможно, он сердит на Дину только потому, что она олицетворяет все, что осталось от единственной семьи, какая у него была.

Теперь их всего двое, одни-одинешеньки.

Вот только Дина не одинока. У нее есть муж, и трое детей, и сотни религиозных соплеменников, которые всю неделю будут ходить сюда косяками. Это же евреи южных штатов, Мемфиса, Грейсленда[4] – они никогда не отступятся и никогда не отвяжутся.

Переутомление и переживания, непрекращающийся анализ своего горя – все это сильнее Ларри: он капитулирует и слезает с кровати. Рывком, чуть ли не сломав, выдергивает вилку аквариума из розетки и испускает вздох облегчения, когда комнату наводняет целительный мрак.

Заползая обратно под детское одеяло, сам себя укутывая, Ларри дрейфует в этой сладостной темноте в сторону дремоты.

---

[1] Дзадзэн – буддийская медитативная практика. Ее первой и основной задачей считается успокоение тела и проникновенное понимание феноменов существования. *—Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев – примеч. пер.*

[2] Гет – бракоразводная процедура в иудаизме, а также особый документ (разводное письмо), выписываемый бывшим мужем бывшей жене.

[3] Общественный парк в Бруклине, Нью-Йорк, США.

[4] Усадьба в Мемфисе, в которой жил Элвис Пресли.

Но забыться не может – его преследуют мысли о смерти и сырой земле, о камешках, барабанящих по гробу, и о бестелесной душе, официально отделенной от тела, – о тени своего отца, которая блуждает на свободе. Когда тело самого Ларри покоится на этой узкой, как гроб, койке, вытянув ноги, до удушья переполненное суевериями, становится ясно, что он, когда отца хоронили, откопал свое прежнее, верующее «я».

Зажмурившись, он вновь и вновь пытается уплыть в дрему. Но невольно прислушивается: как там рыбки в аквариуме – беспокоится за их самочувствие.

Ларри все больше тревожится, что, выдернув вилку, полностью вырубил агрегат и вот-вот задушит рыбок, или антиутопит, или – как это называется, когда не даешь существам, дышащим под водой, жить их обычной жизнью? Он, естественно, не может расслышать, как они плавают, а потому пытается различить шум фильтра для воды, вычленить его в непривычном электрическом гуле всего дома. Но звуки тонут в монотонном вое неутомимого компрессора: он установлен где-то неподалеку и гонит к вентиляционной решетке над койкой морозный воздух.

Так что Ларри снова открывает глаза, потягивается и, напрягая зрение в темноте, надеется разглядеть пузырьки, поднимающиеся, словно столб дыма, над дурацким аквариумным насосом.

И – прекрасно зная, как это нелогично – цепенеет от ужаса при мысли, что наутро семейство займется чередой новых похорон, и все по его вине: вот ведь услужил добрый дядюшка, идиот. Он воображает, как все члены семьи в траурных одеяниях набьются в ванную, чтобы застыть в ожидании уже не у могилы, а над одним из величественных, с бесшумным бачком, богатейских унитазов, которых в этом доме уйма. Племянник будет руководить церемонией, а две племянницы – держать гроб, то есть тяжеленный, наполненный рыбками дуршлаг, и дети будут смотреть, как их убиенные питомицы кувырком отправляются к своему создателю – после того как накануне смотрели, как отправился к создателю их дед.

Всякий раз, когда Ларри уже готов погрузиться в сон, рыбки волокут его обратно, и наконец он вытаскивает себя из постели, чтобы снова воткнуть треклятую вилку в розетку.

Теперь, при свете, Ларри капитулирует перед нескончаемостью этой ночи – лежит, тоскуя по отцу, горячо любя отца: тот, белобородый, в очках, благочестивый, был единственным человеком из прежней жизни Ларри, единственным в их закрытой общине, кто разглядел его истинную натуру, любил Ларри именно за то, кто он есть, ценил того, кем Ларри стал.

– Знай, – сказал отец на больничной койке, – что у тебя в этом мире и в Мире Грядущем все будет хорошо.

– Думаешь, будет? – спросил Ларри (и подумал: о если бы!..).

– Ты знаешь, что я думаю?

– Я у тебя спрашиваю, – сказал Ларри.

– Вот что я думаю: Мир Грядущий – это длинный стол, за которым сидят все, по обе стороны, мужчины и женщины…

– И домашние животные?

– Никаких домашних животных, – сказал отец.

– Совсем никаких?

– Ну ладно, – сказал отец. – Под столом – собаки и кошки. Но птиц нет. С птицами – нет, не могу себе представить.

– Резонно, – сказал Ларри.

– Этот длинный стол, с опрятной белоснежной скатертью, ломится не от еды и напитков, а от свитков Торы: каждому дан свой, чтобы читать поодиночке или изучать с напарником.

– Это я могу вообразить.

– А знаешь, чем люди заняты за этим столом?

– И чем же?

– Там целую вечность учишься, ничем другим не занимаешься. Никаких помех. Нет ни дня, ни ночи, ни выходных, ни праздников, ни ямей хаг, ни хол[5]. Ведь это жизнь после жизни. Время не дробится – все уделено одной цели.

– Конечно, – сказал Ларри.

– Вот почему для душ, которые там собрались, одно и то же место служит и раем, и адом.

Тут отец принялся жадно хватать ртом воздух – сам стал похож на рыбу.

– Вот как все устроено, – сказал отец. – Если у тебя хорошая голова и хорошее сердце, если ты любишь изучать Тору и интересуешься знаниями, для тебя вечная учеба – рай.

Он посмотрел на сына, и Ларри кивнул.

– А если все, чего тебе хочется, – терять время на наришкайт[6] и накапливать вещи, тешиться своими алчными мыслями, хотя денег больше не существует, и тешиться своими грязными мыслями, хотя твой швонц[7] зарыт далеко внизу, тогда для тебя тот же стол – мука мученическая. Тогда, сидя там со своей плохой головой, ты понимаешь: ты в аду.

Ларри, стоя рядом с отцом, призадумался над услышанным.

Отчасти он нашел это смешным и уже подумывал отпустить одну из своих коронных шуток.

Но, будучи, как-никак, сыном своего отца, Ларри одновременно воспринял эти слова серьезно. И эта картина наполнила его благоговейным трепетом и необъяснимым страхом.

Отец, умевший, как никто, понять Ларри без слов, протянул руку с пятнами старческой гречки, накрыл руку Ларри своей ладонью и сказал:

– Не сомневаюсь: для тебя то место станет раем.

Ларри сдавленно ахнул – не от неожиданности; нет, просто от отцовского вердикта сердце внезапно успокоилось.

– Положись на мои слова, Ларри: это ничего, что ты не веруешь. Эта пора твоей жизни – кажется, будто она наступила навечно, но, если тебе посчастливится, жизнь… она ведь длинная, и каждое из этих «навечно» однажды станет клочком дыма: раз – и пролетело. Думаешь, когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, я смог бы это себе представить? Представить, что наступит 1999 год – канун нового тысячелетия – и я буду на закате дней прощаться со своим красивым, взрослым сыном? Могу тебе сказать, я уже тогда считал себя стариком и мнил себя всезнайкой. – Отец слабо пожал руку Ларри. – Ты хороший мальчик. И я молюсь о том, чтобы увидеть тебя напротив, только когда ты доживешь до ста двадцати лет. Но тебе, мой бойчик, когда придет час занять место, этот стол покажется нескончаемым блаженством.

---

[5] Ни праздников (святого), ни будней (мирского) (*иврит*).

[6] Глупости (*идиш*).

[7] Мужской половой орган (*идиш*).

II

Второй день шивы даже тяжелее первого.

Ларри протягивает сестре оливковую ветвь: все утро напролет проводит среди посетителей в гостиной, на приличествующем случаю стуле – спину сломаешь.

Безропотно внимает светским разговорам и добрым пожеланиям; отвечает учтивым кивком даже на те взгляды, в которых печаль едва сквозит; не ропщет, когда его вовлекают в беседы; учтиво кивает даже при виде еле заметных скорбных морщин.

Выслушивает, один за другим, патологически глухие к его переживаниям рассказы про чужих покойных родителей, про жизни, оборванные на полуслове, и про затяжные агонии, про прощальные диалоги и про раскаяние тех, кто упустил возможность закрыть потухшие навек глаза.

Ларри одолевает соблазн сказать в ответ: «Спасибо за рассказ и ну его в жопу, вашего покойного папу».

А вместо этого он тоже усиленно хмурится, соболезнуя. Кого-то ласково похлопывает по колену, кого-то – по спине, а однажды, расчувствовавшись, так сжимает кого-то в объятиях, что с обоих сваливаются ермолки.

Всякий раз, когда Ларри смотрит на часы, кажется, что стрелки примерзли к циферблату – а может, вообще ползут назад. Беспощадные лучи теннессийского солнца пробиваются сквозь жалюзи, вонзаясь в Ларри, куда бы он ни оборачивался.

Занемевший, просидев на корточках так долго, насколько по силам человеку, Ларри распрямляется в полный рост и бредет, не обуваясь, в одних носках на раскаленный задний двор. К нему прикованы все взгляды: он нарушает правила.

Незадолго до того как приходит пора читать маарив, Ларри улучает еще один момент для тет-а-тета на кухне с сестрой. Идет прикрыть за ними дверь – и слышит из соседней комнаты отчетливый треск чьих-то коленок. Одна из синагогальных старушек поднимается с дивана, чтобы самоотверженно позаботиться о нем и Дине.

Ларри замирает, стискивая дверную ручку, и изо всех сил посылает старушке мысленный приказ: «Отвали, ах ты добросердечная старая перечница».

Под его взглядом женщина каменеет, начинает разглаживать складки на своей юбке, словно только ради этого и встала. А затем, медленно-медленно, снова присаживается.

Обернувшись к Дине, Ларри видит, что она страшно устала – не от приема посетителей, не от скорби, не от родительских обязанностей. Брат – вот кто ее измучил.

Он дожидается, пока ее лицо смягчится.

Не дождавшись, боясь упустить случай для беседы наедине, начинает сам.

– Над душой стоят, – говорит Ларри.

Дина театрально закатывает глаза – больше никак не может ответить.

– И это продлится еще пять дней, – говорит он. – Бесконечных дней.

– Знаешь, что такое бесконечность, Ларри? Знаешь, чего твоя сестра не выдержит до конца недели? И это намного, намного хуже!

Ларри призадумывается.

– Меня? – переспрашивает он.

– Верно. Вот чего я не могу вынести. И мой муж тоже. И… дети у меня золотые, но, чую, у них тоже очень скоро никакого терпения не хватит.

Ларри начинает было отвечать, но сестра, грозя пальцем, заставляет его умолкнуть. Она еще не все сказала:

– Ларри, выслушай. Не могу же я постоянно напоминать тебе, что люди-то эти хорошие. Сил моих нет каждую минуту тебе втолковывать: в доброте нет ничего, кроме доброты. Если тебе хочется видеть неприязнь там, где только приязнь от чистого сердца…

– От чистого сердца? – говорит Ларри. – Не стану отрицать, в такое время эти люди подставляют плечо. Но всё ли тут, – говорит он, указывая куда-то за стену, на комнаты за пределами кухни, – и вправду идет от чистого сердца?

Дина скрещивает руки на груди. Дина безмолвно бросает ему вызов: а ну, осмелишься продолжить?

– Если б от чистого сердца, они все равно прибежали бы в полном составе, если бы ты стала некошерной или противницей Израиля. Или если бы ты вдруг стала лесбиянкой.

– С чего мне вдруг становиться лесбиянкой?

– Ладно. Тогда – Ави, если бы он стал геем.

– Ави? Мой муж? Ави, у которого даже сейчас, в такой-то обстановке, встает?

– Фу, – говорит Ларри. Затем, поразмыслив над услышанным, замечает: – Стопудово. Ави – гей. Собрались бы они здесь всем скопом, если бы жизнь вдруг вот так перевернулась?

Предположение чисто теоретическое.

Похоже, Дина сейчас не настроена предаваться теоретическим рассуждениям. И хотя еще вчера она приказывала ему не повышать голос, теперь рявкает довольно громко:

– Хватит!

Крик отдается эхом.

Его услышали и в гостиной, и в столовой, наверняка. Ларри прямо-таки чует присутствие всех этих скучающих соседей, выискивающих, что бы поклевать на столе с бейглами, печеньем и переизбытком сырых овощей.

Он знает: после вспышки гнева гости перестали пастись и сейчас пристально смотрят сквозь стену; криво нарезанные, надтреснутые кусочки моркови зависли в воздухе, не успев окунуться в миски с затвердевшим поверху хумусом и баба-ганушем.

Ларри глубоко дышит, пытается посчитать до десяти.

– Хватит? Чего? – спрашивает он, слишком долго выждав после вопля Дины.

И почему-то горделиво расправляет плечи, словно это самая остроумная на свете отповедь.

– Я раскрыла перед тобой свои двери, – говорит ему Дина. – Двери моего дома. Он всегда был и твоим домом. И моя община – она всегда была и твоей тоже.

– Что-о, мемфисская община? Где не так уж далеко от тела нашего отца покоится тело Элвиса? Брось, это слишком.

– Мемфис, Бруклин – какая разница? Ортодоксальная община, община «Молодой Израиль» – она одна и та же в любой точке мира. Это твой дом, Ларри, где бы ты его ни нашел, даже если ты из этого дома сбежал.

Как она может говорить, что он сбежал?! И где говорить – в Теннесси! Говорить такое пожизненному ньюйоркцу! Надо же такое сморозить, переплюнув всё в этом штате – «Гранд-оул-опри», «Жареную курочку от Гаса» и «Хи Хо»[8]. В штате, где Ларри, если бы его не изводила бессонница от помрачения мозгов, все равно не сомкнул бы ночью глаз от страха, что какой-нибудь долбаный паук-отшельник укусит его во сне и проснется он со сгнившей ногой – если проснется.

Как может Дина – ладно бы, кто другой, но Дина? – говорить, что это он сбежал? С точки зрения Ларри, это сестра, выйдя замуж за Ави, уехала из Бруклина на Луну. Кто пустил корни

[8] Бренды штата Теннесси: «Гранд-оул-опри» – транслируемый по радио живой концерт музыки в стиле кантри; «Жареная курочка от Гаса» – сеть ресторанов быстрого питания; «Хи Хо» – существовавшая долгое время в США эстрадная телепередача, где исполняли музыку кантри и юмористические скетчи.

в их родном городке, так это Ларри. Посмотрите хоть на его адрес. Или кровать размера суперкомфорт с матрасом «Осанкопед», где Ларри приклоняет голову каждую ночь в настоящей, за непроницаемо-черными шторами, темноте, стоит не в трех станциях метро от квартала их детства?

А самого факта, что он измеряет расстояния станциями метро, разве недостаточно? Можно ли убедительнее доказать, что он остался жить вблизи того, что они в детстве считали настоящим центром цивилизации?

Он уже готов привести этот аргумент. Разить Дину немилосердно, но тут врывается рав Рой (каких только дурацких имен не бывает у раввинов, но это!), чтобы уволочь Ларри в гостиную на вечернюю молитву.

В эти дни мука мученическая тянется для Ларри без передышки, но каждый день отличается какими-то уникальными пытками. Трижды в день – утром, днем и вечером, – когда община собирает миньян, Ларри вынужден читать, снова и снова, кадиш скорбящего.

Рав Рой созывает кворум, и Ларри перед всеми собравшимися поклоняется Богу со всеми шуклингом[9], серьезностью и каваной[10], которых от него ожидают эти профессиональные евреи.

Когда наступает должный момент, Ларри окликает собравшихся, чтобы они могли ответить на его мольбы к Небу. Перед ними он сдерживает слезы и читает для своего дорогого, драгоценного отца молитву за умерших.

[9] Шуклинг (шукелинг, шокелинг) (*идиш*) – покачивание телом во время чтения Торы или молитвы. В книге Зоар объясняется причина такого движения: душа еврея связана с Торой, подобно тому как фитиль горящей свечи неразрывно связан с пламенем, дрожащим и раскачивающимся на ветру. – *Примеч. ред.*

[10] Кавана (*иврит*) – направленность сердца, то есть сосредоточенное внимание, интенция, вкладывание души в то, что ты делаешь.

III

Снова вытянувшись на кровати, Ларри пристально, тоскливо смотрит на рыбок: он ведь заточен здесь вместе с единственными на всю Вселенную домашними питомцами, от которых не дождешься ласки. Ларри даже не попытался отрегулировать освещение перед тем как улечься – смирился с неусыпной бессонницей.

Что он сделал, пока весь дом хлопотливо чистил зубы и переодевался в пижамы, так это достал из чемодана свой ноутбук, поставил на тумбочку и подключил к нему кабель модема, которым пользуется племянник, – выдернул из системного блока на столе. Стал шарить в интернете, внимательно всматриваясь в аквариум, попытался выяснить названия хотя бы некоторых обитателей. Надеялся стать чуть менее чужим, расположить к себе.

Когда зашел племянник, чтобы взять свои вещи и рассыпать над водой корм, Ларри встал рядом и, тыча пальцем, попытался припомнить усвоенное пятью минутами раньше. Сказал:

– Это лировая – во-он, позади той парочки?

Мальчик – вылитая мама! – театрально закатил глаза:

– Эти все – лировые. Парочка поближе – красные глазчатые мандаринки, а сзади – мандаринка точечная. Но все они…

– Лировые?

– Ага, – сказал мальчик.

– А вон та маленькая, наподобие акулы?

– Акула, – сказал мальчик, покачал головой и оставил дядю наедине с его тревогами.

Теперь Ларри смотрит, как эта мини-акула поворачивается и атакует его, подплывая к стеклу.

Ларри прижимает подушку к груди, сгибает ноги в коленях – принимает позу эмбриона. Думает о том, как любил отца. И как отец любил его, принимал таким, какой он есть, смотрел на него – насколько это вообще возможно для религиозного человека – с верой иного рода. Он верил в самую суть Ларри. Он чтил своего сына.

Но к тому, что отец верил в Ларри так, как человек верит в человека, прилагалось глубоко принципиальное неверие отца во все, что Ларри считал истинным. На смертном одре отец не переставал втолковывать: та жизнь, которую Ларри ведет сейчас, та жизнь, которую он сам себе выстраивал ценой упорных усилий, – вовсе не *подлинная* жизнь Ларри.

Даже когда Ларри исполнилось тридцать, когда волосы припорошила первая седина и мешки под глазами набрякли, его отцу казалось, что выбранная Ларри жизнь – что-то временное, распутье, а в итоге для Ларри придет пора «вернуться домой», как это называл отец.

Домой.

Для его отца и сестры дом был не конкретным местом, где берет начало твоя жизнь. А любым аванпостом, любой точкой планеты, где есть единомышленники, кошерные, окунающиеся в микву, посещающие синагогу, аплодирующие Израилю соплеменники, которые все как один чувствуют и верят одинаково и поступают одинаково, на один и тот же манер, в том числе относятся к трауру настолько серьезно, что выдышали уже весь воздух в комнате, вынуждая живых задыхаться, чтобы те в конце концов вправду стали одним целым с покойным.

Отец Ларри настолько убежденно верил, что все существование его сына – лишь временный этап, что в одном из прощальных разговоров сказал Ларри:

– Если у тебя есть эти жуткие хипстерские татуировки, знать о них ничего не хочу. Но, умоляю, если будешь делать еще, делай там, где их не видно. Когда ты вернешься к своим, нелегко придется, если у тебя окажется какая-то глупая надпись на костяшках пальцев или дракон на запястье. Тебе придется лицезреть свою ошибку каждое утро, когда надеваешь тфилин.

В этот момент Ларри охватили смешанные и странные чувства. Он почувствовал, что за него переживают. И обиду тоже почувствовал. И одновременно невольно рассмеялся. Услышать «хипстер» из уст отца! Миллион долларов – да, он поспорил бы на миллион, что отец этого слова никогда не слышал.

Если уж они добрались до судьбоносных решений, наступил самый подходящий момент – не хуже любого другого – поговорить о похоронах и о транспортировке того, что станет телом, домой, обратно в Нью-Йорк.

Не мог же Ларри отстраниться от всех этих дел и перевалить их на сестру. Должен же он в конце концов повзрослеть.

Отец, в свой черед, рассмеялся – хрипло, с пересохшим горлом. Нет, сказал он сыну. Он направится не туда. Нет, не в Бруклин.

Такой ответ чуть не сшиб Ларри с ног. Но тут Ларри вспомнил давно позабытое. Да, конечно же, само собой, отец желает упокоиться в Израиле. Когда придет Мессия и мертвые пробудятся, отцу не захочется катиться под землей до самого Иерусалима, прежде чем восстать из могилы. Вот что втолковали Ларри в детстве: те, кто покоится на Святой Земле, вылезут прямо из своих могил. Другим евреям, прежде чем ожить, придется проделать долгий путь – катить свои гремящие косточки до дома всех домов.

– Иерусалим, – сказал Ларри, кивнув мрачно и с полным пониманием.

Отец снова засмеялся.

– Ерушалаим? Ты себе представляешь, сколько это стоит? Отправить гроб самолетом? Купить место на кладбище? Хочешь, чтобы я переслал себя по почте, чтобы меня засунули в склон каменистого холма около шоссе, в тени торгового центра, точь-в-точь похожего на западные? Нет, Ларри, не в Израиле. Здесь, в Мемфисе, – сказал он. – Меня похоронят мехутаним[11]. Буду покоиться рядом с семейным участком родни твоей сестры.

– В Мемфисе, насовсем?

Отец кивнул. В Мемфисе, насовсем. Да.

Ларри не знал, что и подумать. А как же места на кладбище в Ройял-Хиллс, уже оплаченные отцом и матерью?

– Мой свадебный подарок ей и тому дуролому.

– Ты отдал свое место Деннису?

– В тот же день, когда они обменялись кольцами. Пусть твоя мать покоится под общим надгробием с именем, которое для еврея – просто смех. Деннис. Все равно что провести вечность в могиле с тренером по теннису.

– Но, пап, они не вернутся в Бруклин. Никогда. Они даже в гости не приезжают.

– Что ты знаешь о планах твоей матери и этого идиота? Какой мозольный оператор переносит свой бизнес в места, где богачи с утра до вечера рассиживаются, задрав ноги кверху? В пятидесяти милях от их дома не найдешь ни одной сверхсложной мозоли.

– Почему вдруг мы заговорили про ноги? Абба, ты же нездешний, – сказал Ларри, обводя рукой вокруг, подразумевая больничную палату, и больницу, и Мемфис, и великий штат Теннесси. – А что, если я прямо сейчас верну те места? Что, если я договорюсь с мамой? Тебе следует покоиться дома, в Ройял-Хиллс, среди евреев. Там, где ты был всегда. Ты возьмешь одно место, а я… я воспользуюсь вторым.

– Вот-вот, – сказал отец. – Сейчас ты нас бросаешь, как будто это ничего не значит. Но я уверен: когда наступит тот час, тебе захочется к нам вернуться.

Услышав слово «бросаешь», Ларри скривился. Отец заметил это и все понял:

[11] Мехутаним *(иврит)* – родственники со стороны зятя или невестки.

– Ларри, ты нас бросаешь не как сын, не в этом смысле. Ты здесь. Ты прилетел. Остановился в «Ла Куинте» и делаешь то, что должен. Идеальный сын. Я говорю в смысле, бросаешь как еврей. Не меня. Я имею в виду твой народ, твою веру. И это еще одна причина, почему…

– Почему – что?

– Почему здесь.

– Потому что я секулярный?

– Потому что я умираю. И хочу: когда я уйду, пусть все будет сделано как надо. По-настоящему.

IV

Ради этого «пусть все будет сделано как надо» рав Рой уводит Ларри из гостиной в кабинет. Они только что завершили молитву, идет последний вечер строгой изоляции. Очевидно, все спланировано заранее: Дина идет за ними по пятам, а Дуви Хаффман замыкает шествие.

Хаффман возглавляет Хевра Кадиша – местное похоронное общество. Этот человек с бычьей шеей и тройным подбородком, лезущий не в свои дела, – тот самый, кто готовил тело их отца к возвращению в прах.

С тех самых пор как отца отвезли в больницу, а потом на кладбище, Дина никого в кабинет не допускала. Значит, кабинет они выбрали за его эмоциональную весомость в момент, когда от шивы остается лишь один рассвет и завершающий миньян, а затем все собравшиеся призовут брата и сестру встать и принять утешение от Всевышнего среди скорбящих Сиона.

Муж Дины – симптоматично – при этом не присутствует. Дина решила не втягивать Ави – как и всякий раз, когда наступало время ей и Ларри засучить рукава для настоящей драки. Ясно: отсутствие Ави – дурной знак.

Никто из трех человек, стоящих перед Ларри, не притворяется, будто они собрались здесь спонтанно. Хаффман и Рой – по бокам, Дина – в центре. За их спинами, возвышаясь над всем, – стена религиозных книг в позолоченных и посеребренных переплетах. Ларри пятится, натыкается на раму раздвинутого дивана: одеяло до сих пор свисает криво, простыни сбились в ком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.